

**П**ЕРВЫЕ повести Бориса Можая складывались в том литературном пространстве, вектором которого были «Районные будни» Валентина Овечкина. Вспомним «Наледь», «Полюшко-поле» — повести о социальных новаторах, «новых людях» конца пятидесятих годов и их столкновении с карьеристами, демагогами, привыкшими к «волевым» методам руководства. Поэтому когда на страницах «Нового мира» в 1966 году появилась повесть «Живой» (в журнальном варианте — «Из жизни Федора Кузькина»), Б. Можая предстал в новом, неожиданном качестве: героем ее оказался человек, какого раньше в литературе и вовсе не было. Не передовик, не борец с рутинной, даже не отстающей, а вообще бедолага. И борется Кузькин не только за про-

## ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Бориса МОЖАЕВА

● Русское поле...

● «Наш современник закален такими испытаниями войны, разрухи, восстановительных времен, что с лихвой заслужил право называться истинным героем нашего времени». Борис Можая.

● Феликс Кузнецов: «Б. Можая давно и прочно занял по праву принадлежащее ему место в той плеяде писателей, чье творчество кровно связано с миром русской деревни, ее чаяниями, заботами, надеждами и свершениями. Он близок им не только биографической сопричастностью к крестьянскому труду, но, в значительной степени, и своей самобытной творческой манерой и в особенности отношением к языку, как не просто первоэлементу литературы, но непреходящей духовной ценности, условию национальной культуры».



# «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

грессивную систему хозяйствования. По утверждению ряда критиков — вообще за свои «шкурные» интересы. Но сегодня это вполне признанный, понятый и принятый читателями и критиками персонаж, так же как и появившийся в один год с Кузькиным Иван Африканович из «Привычного дела» — герой, показанный В. Беловым в сходных с кузькинскими социальных обстоятельствах.

Разобраться в Кузькине нелегко: он скромношествует, «ломает комедию», «взывает дурака». Не сразу поймешь, что дурак, которого он ваяет, — не кто иной, как Иван-дурак, самый умный, самый любимый герой русского фольклора. Кузькин ведь и труженик, каких мало, и столько выдюжил, что на три судьбы бы хватило: и войну, и послевоенные годы. Он честен — это вынужден признать даже лютой его ненавистник Гузенков. Больше того, Федор Кузькин — подлинно государственный, ответственный человек. Он, не задумываясь, отдает последние деньги, чтобы отбуксировать трактором плоты, спасти общественное добро. И даже когда Кузькин «шабашничает» — подряжается косить дояркам траву, — он, в сущности, делает то, что не подумался сделать Гузенков и к чему пришли сегодня: часть забот о личном хозяйстве тоже должно взять на себя общество, чтобы человек мог и личную корову иметь, и в общественном производстве трудиться в полную силу.

Но хозяйственные проблемы и споры не исчерпывают содержания повести. Суть ее — в совершенно необычной причине конфликта Живого с Гузенковым. Гузенков взвился на Кузькина из-за того, что Кузькин не пожелал стоять на вытязку перед «рукотворством» в лице Гузенкова, не пожелал мириться с хамством, не пожелал поступиться самой нематериальной из ценностей: чувством человеческого достоинства.

Кузькин — инвалид войны, удостоенный боевых наград. Но он не бряцает медалями, ибо желает, чтобы уважали не его награды, а человека, самого обычного человека. Случалось, что в критике «Живого» противопоставляли первым повестям Можая. Говорили, «Живой» — пример реалистической литературы характеров, а ранние вещи — умозрительная литература проблем. Но это неверно. «Живой» — тоже насквозь проблем и публицистичен. Кузькин — индикатор, мера и воплощение самой глубокой человеческой сущности тех проблем, которые волновали и волнуют Можая-публициста сегодня. А Можая — неутомимый газетчик, автор трех книг статей и очерков, посвященных актуальным вопросам сельского производства, быта и культуры села. С такой же увлеченностью, как о характерах и судьбах людей, пишет

он о заготовке кормов, пolderной системе мелиорации, головотяпстве со сломом «неперспективных» сел и т. д. Ему чуждо высокомерное отношение к «низким» темам, к литературной «подцензуре»; проблемный очерк, критическая статья, фельетон — вполне уважаемые Б. Можая жанры. Условием выполнения «наивных» требований Кузькина и является вся публицистическая программа Можая — вплоть до самых глубоких ее начал: уважения к природе, к земле и уважения к разуму.

Знаменательно: ранние повести писался Б. Можаям на Дальнем Востоке, где он служил военным инженером. «Кузькин» первое из его «рязанских» произведений. Об этом нужно сказать потому, что изменение места жительства повлекло изменение плана изображения жизни. На Дальнем Востоке Б. Можая служил, работал. И отношения с героями у писателя не утрачивали оттенка таких, когда знакомился с людьми, находясь в служебной командировке. В «Живом» — отношения совершенно иные: соседские, родственные, более свободные, неформальные, словом, такие, когда «жизнь встает в ином разрезе и большое понимаешь через ерунду».

По форме — «байками», «рассказками», по сути — своеобразным художественным инновационным публицистикой, театрально-ироническим острашением картины действительности явился примыкающий к «Живому», связанный с ним общей географией и многими персонажами цикл новелл «История села Брехова», писанная Петром Афанасьевичем Булкиным. Предлагаю читателю эти «повести Булкина», писатель оставляет себе роль публикатора, то есть прибегает к приему, сходному с литературной мистификацией, подчеркивая, что перед читателем не просто образ реальности, но и документ сознания одного из героев. Но это не только мистификация, это еще и прием народного балана: рассказ о реальных событиях от лица персонажа, заведомо не пользующегося уважением зрителей. Булкин — антипод Кузькина: в то же время для гонителей Кузькина Петр Афанасьевич — опаснее врага: он их выдает с головой, шаржирует и разоблачает в своих откровениях. Необходимо было вернуться к традиции великих сатириков, чтобы увидеть историческую природу зла, разоблачив его попытки предстать порождением новой жизни, обезоружив смехом.

В «Живом» и в «Истории Брехова» ярко выявилось присущее писателю великолепное чувство юмора. Вот одно из откровений его героя Булкина: «...взять хоть пьянку. Раньше кто пил у нас в Брехове? Мельник, потому как за помол брал батман —

мукой и деньгами. А кто вне очереди хотел помолоть — поллитру ставил. Пил еще плотник Юрсов, да сапожник Митя — немой. Энти каждый день дули. Остальные выпивали только по праздникам. А таперика что? Таперика пьют, можно сказать, поголовно все. Если посмотреть на это как на мораль, то можно и осудить. А с исторической стороны ежели подойти? Это же достижение. Потому что пьют, когда есть на что пить. Небось, в войну не пили. И когда страну поднимали, тоже не до пить было... Значит, пьянка — это верный признак исторического прогресса, то есть улучшения материальных условий».

Чувство юмора всегда создает между автором и объектом изображения внутреннюю дистанцию, не позволяющую художнику власть в сентиментальный натурализм, утратить критичность взгляда, трезвую память о прошлом и ясность представлений о будущем. У Можая хватает юмора и для того, чтобы видеть, как смешон, неестествен горожанин, начинающий охать или цокать в родном селе, противопоставляющий его городу как истинное — неистинному, духовное — бездуховному, культуру — цивилизации, превращающий ностальгию в социальный философию. Артистизм и юмор Можая помогают писателю сохранять идейную устойчивость в изменчивых коллизиях жизни, сохранять здравый смысл, чувство гражданской ответственности, ясное видение перспектив исторического развития.

«Живой» и примыкающие к нему рассказы — один из смыслообразующих центров того замечательного и знаменательного в отечественной литературе явления, которое именуется «деревенской прозой».

Это явление, обусловленное определенной общностью мироощущения, художественной концепции бытия, реалистическим изображением народного бытия и народных характеров. Проза эта могла бы даже казаться натуралистичной, чрезмерно региональной и диалектной, если бы приближение к жизни не сопровождалось одновременно возвращением к классическим культурным традициям. Например, о Кузькине справедливо писали, что это очень народный, выхваченный из жизни образ. Реже осознается то, что народность, яркость, глубина можаевских образов обусловлены не одной только погруженностью писателя в гущу жизни, но в равной мере и тем, что некогда Б. Можая по вечерам слушал курс фольклора у Азадовского в Ленинградском университете, а затем, на Дальнем Востоке, работал как фольклорист над сборником удэгейских сказок. Кузькин — Иванушка-дурачок, но к тому же еще успевающий побывать Кола Брюньоном, по-

этичным, непокорно-насмешливым, неистребимо-стойким в невзгодах...

Эта сопричастность жизни деревенского бедолаги мировой культуре — одно из волшебств «деревенской прозы», во всяком случае, ее самых глубоких и чистых струй, явления социологически уникального. Она создана писателями, которые, как и Можая, — выходцы из крестьян, с ломоносовской жадностью к знанию прошедшие прекрасную литературную и философскую школу и пишущие о своем селе. «Вот моя деревня, вот мой дом родной» — звучит в каждом произведении этой прозы.

Однако звучит по-разному. У одного — с умирлением, у другого — с ностальгической грустью, у третьего — с любовью и болью.

А у Можая? В его творчестве, где любовь к природе и человеку, трудолюбие и душевная красота суть родственные друг другу понятия?

У Можая нет идеализированных фигур. Достаточно вспомнить «Старицу Прошину». Этот рассказ едва ли не самый протокольный, «журналистский» по манере письма, таит в себе энергию большого романа. В нем особенно остро присуще Б. Можая стремление постичь в чертах современности логику отечественной истории. И когда в 1976 году читатели получили роман «Мужики и бабы», стало понятным, что небольшие повести, рассказы и очерки Бориса Можая были не кустарниковой порослью, а ветвями большого дерева.

Есть некая неизбежность в появлении этой книги: чем еще объяснить, что в то же время выходит роман Белова «Кануны» с таким же поразительным — как между «Живым» и «Привычным делом» — параллелизмом событий, конфликтов, образов.

Пока перед нами — лишь первая часть романа. Но и она вполне заслуживает того, чтобы говорить о ней как о сильном, глубоком произведении, содержащем вполне определенную концепцию времени.

У книг Бориса Можая очень схожие судьбы. Сначала они вызывают полемику; по прошествии лет — похвалы. И неизменно — благодарность читателей. Вот характерные строки из трех, наудачу взятых читательских писем, с которыми ознакомил меня писатель:

«Живой» — это не только крестьянин, это просто русский человек, в том числе и я... Книга эта вся в жизни и вместе с тем высока. С такими книгами воистину легче жить».

«Вы пишете ярко, едко. Оружие у вас неотразимое — смех. Смеяться умеют не все. Смеяться надо уметь... Как и здравому смыслу... Очень хорошую и честную книгу вы написали. Партизанную, современную, хотя и называется она «Старые истории».

«Дорогое издательство! Я кузнец, мне 50 лет. За роман «Мужики и бабы»... низкий вам от меня поклон!»

Завидная почта... Так бывает, если художник умеет не утешительной сказкой, а искренностью и правдой пробуждать в нас добрые чувства, воспитывать оптимизм в преодолении трудностей и чувство подлинной, гражданской ответственности.